

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

АНЕКДОТ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ ПУШКИНСКОЙ ЭПОХИ

4.1. Традиции анекдотов-небылиц и книга о "русском Мюнхгаузене"

Разнообразный, многополюсный мир народного творчества включает в себя целую группу интернациональных сюжетов о невероятных реальных происшествиях (анекдоты о небылицах). В сфере художественной литературы сюжеты эти обычно систематизируются, осмысляются и концентрируются уже вокруг исторически вполне реальной личности. В итоге создается легендарная биография популярного рассказчика и остролова, автора смелых фантазий и забавных историй.

У такого рода повествования, помимо книг Э.Распе и Г.Бюргера о бароне Мюнхгаузене, есть еще один любопытный литературный предшественник – *Фацетии* Г.Бебеля, в тексте которых одна группа сюжетов непосредственно восходит к народным анекдотам о небылицах. Вот что пишет об этой части *Фацетий* современный исследователь:

Интересны лживые истории, рассказанные Бебелем в "Фацетиях". Интересны они тем, что в них Бебель дает не ложное или ошибочное представление о действительности, а нарочитый, специальный смешной обман. Лживые рассказы он нередко вносит в правдоподобную, реальную ситуацию. В лживых историях Бебеля впервые в литературе появился специальный герой-враль – кузнец из Каннштадта, место которого позднее, в XVIII веке, занял знаменитый барон Мюнхгаузен (Каган 1970: 281).

Добавим: барон Мюнхгаузен был совершенно реальной исторической личностью, что придавало циклизированным вокруг него происшествиям совершенно особый колорит. У Г.Бебеля, конечно, еще нет такого документально засвидетельствованного героя, вносящего в анекдоты о небылицах тонко рассчитанный элемент достоверности. Однако в *Фацетиях* уже достаточно четко различимы черты выработанной, отшлифованной поэтики невероятной забавной истории (сознательная ориентация на "нарочитый, специальный смешной обман" как раз и создает особый эстетический эффект) и самый тип рассказчика-враля.

В *Удивительных приключениях барона Мюнхгаузена* все это было впоследствии развернуто и углублено. Причем, в высшей степени показательны, что в книгах Э.Распе и Г.Бюргера Мюнхгаузен определяется как "каратель лжи". Данная формула имеет чрезвычайно важное значение для понимания этого образа, для уяснения его типологической роли.

Названная формула абсолютно точна, ведь барон не просто предается причудливому и прихотливому фантазированию: он пародирует, доводит до гротеска и абсурда способность человека прилгнуть, прихвастнуть. Поэтому с полным основанием можно говорить, что невероятные истории Мюнхгаузена – не ложь в собственном смысле слова, ибо на самом деле они разоблачают ложь, выставляя ее в неприглядном и откровенно комическом виде. Такова общая эстетико-воспитательная концепция образа. Она была кратко, но достаточно четко обозначена в предисловии к *Удивительным приключениям*

барона Мюнхгаузена (Бюргер 1956: 3–4).

Любопытный вариант книги о Мюнхгаузене, т.е. такой именно книги, в центре которой находится образ суперхвастуна, был создан в Москве в конце XVIII – первых десятилетиях XIX веков князем Цициановым. Правда, этот текст не был записан в виде целостного, связного повествования, но реально он существовал именно как единая структура, которая была сформирована не за счет общего сюжета, мало приемлемого в рамках анекдотического эпоса, а прежде всего через личность рассказчика-враля как центра, скрепляющего, цементирующего наращиваемые эпизоды.

Книгу о "русском Мюнхгаузене" (именно книгу, а не отдельные сюжеты) знал и любил А.С.Пушкин. Реконструкция ее сейчас, по прошествии двух сотен лет, возможна, но крайне затруднена и неизбежно будет отличаться определенной неполнотой, но и в таком виде она должна иметь несомненное историко-литературное значение.

4.2. "Русский Мюнхгаузен". Кавказский цикл. Семейные предания

Сохранившиеся биографические сведения о Д.Е.Цицианове крайне скудны. Как известно, в 1724 году грузинский царь Вахтанг VI эмигрировал в Россию. В его огромной свите, включавшей в себя более тысячи человек, находился и князь Яссе (Евсей) Цицишвили. Его сын Дмитрий и получил известность как "русский Мюнхгаузен".

Он нигде не служил, видя весь смысл своей жизни в ублажении москвичей роскошными обедами и великолепными "остроумными вымыслами". Известно и засвидетельствовано документальными данными только то, что Д.Е.Цицианов был основателем восстановленного в 1801 году – после отмены павловского запрета – Московского Английского клуба (впоследствии, в ознаменование этой заслуги, он был избран его пожизненным почетным членом) и масоном, членом ложи "Немезида" (Извлечение из журналов 1889: 86-93; Письмо масонской ложи 1909: 174).

Кроме того, любопытная зарисовка, касающаяся Д.Е.Цицианова, его кавказских корней и вообще некоторых семейных обстоятельств, находится в мемуарах А.О.Смирновой-Россет:

Во время Петра Великого царь Вахтанг просил подданства России во избежание нападков враждебной Персии и Турции. С ним приехало множество княжеских и некняжеских родов: Цициановы, Баратовы, Алигозаровы, Давыдовы, Эристовы и другие. У князя Евсевия (Цицианова – *Е.К.*) и жены его был единственный сын, князь Дмитрий. Он сделался известен своим хлебосольством и расточительностью, да еще привычкой лгать вроде Мюнхгаузена. Он женился на побочной дочери царевича Александра Георгиевича и какой-то княгини или княжны Заборовской (этот род угас, и есть просто Заборовские). За ней он взял восемь тысяч душ в Нижегородской губернии: торговое село Катунки приносило огромный доход. За ней был дом, конечно, деревянный в приходе Рождества в Кудрине. Это был целый квартал, и церковь была в саду, окружавшем этот дом. Дмитрий Евсеевич сказал отцу: "Я ничего не беру из десяти тысячи десятин. Наплевать мне на эту дрянь! Земля отведена черт знает где, в каком-то пустыре безлюдном". Жизнь в Москве была слишком дорога для большого семейства, и они (родители Д.Е.Цицианова с дочерьми – *Е.К.*) отправились в местечко Санжары (турецкое название), где живут реестровские казаки... (Смирнова-Россет 1989: 77–78).

Воссозданный мемуаристкой эпизод, при всей его скупости, чрезвычайно колоритен,

более того, принципиально важен в рамках настоящего исследования. В нем очень ярко, выпукло показано, как решительно и бесповоротно Цицианов избрал основной сферой своего обитания Москву, что, видимо, диктовалось неискоренимой потребностью в постоянном, широком и эстетически наполненном общении. Точнее говоря, ему нужна была публика, нужны были зрители того оригинального действия, которое он творил из своей жизни. Поэтому огромный дом и обширнейшее имение в провинции оказались совершенно не нужными, даже мешающими реализации книги о "русском Мюнхгаузене".

Вся остальная информация о Цицианове может быть извлечена только из той анекдотической автобиографии, которую он "выстраивал" в своих устных рассказах. Причем, автобиография эта была развернута на фоне барского быта, представляя в определенном ракурсе мир "отставной столицы".

Цицианов по образу жизни и привычкам был подлинный москвич, но принадлежность к старинному грузинскому роду определила одну из интереснейших тем его творчества, в котором национальные корни рассказчика отразились в трансформированной, резко гиперболизированной форме, в соответствии с поэтикой анекдота-небылицы.

Кстати, этот слой цициановских новелл важен не просто потому, что дает интересное творческое преломление восточного происхождения рассказчика. Дело в том, что он в пародийно-игровом ключе демонстрирует целый пласт быта барской Москвы (в "отставной столице" была достаточно разветвленная грузинская колония). Национальные традиции постепенно растворились, рассеялись, но ощущение своей личности осталось, осталось чувство гордости своим древним происхождением. Цицианов предъявлял данный психологический комплекс в откровенно гротескном ключе. Посмотрим, как он это делал.

П.И.Бартенев со слов Аркадия Росчета (брата А.О.Россет) записал следующее:

Он (Д.Е.Цицианов – *Е.К.*) преспокойно уверял своих собеседников, что в Грузии очень выгодно иметь суконную фабрику, так как нет надобности красить пряжу: овцы рождаются разноцветными, и при захождении солнца стада этих цветных овец представляют собою прелестную картину (Русский Архив 1889: 86).

Перед нами не столько полноценный цициановский текст, сколько его краткая, конспективная фиксация, точнее запись финала рассказа – парадоксально-остроумного псевдообъяснения ("овцы рождаются разноцветными"). Тем не менее, можно вполне реально представить основные черты этого "остроумного вымысла".

Его характеризует условно кавказская тематика, являющаяся точкой отсчета для самого безудержного фантазирования. В итоге становится ясно, как смело и остроумно Цициановым был конкретизирован распространенный тип наивно-хвастливой истории о дальних странах, канонизированный в книгах Э.Распе и Г.Бюргера. Сравните, например, с таким эпизодом из *Удивительных приключений барона Мюнхгаузена* (цитируем по первому русскому переводу):

Будучи в северных странах, выпросил я позволение взять с собою несколько лоз тамошнего винограда. В тех странах виноград столь велик и крупен, что один человек не в состоянии нести целой кисти, а носят их обыкновенно на палках двое (Не любо – не слушай, а лгать не мешай 1811: 60).

Сохранилась запись еще одного цициановского анекдота, входившего в кавказский цикл, к

счастью, намного более развернутая, чем первая. Текст опять-таки завершается тонким, острым, игривым псевдообъяснением, придающим всему "остроумному вымыслу" особую прелесть. Главную же тенденцию анекдота (особый разговор о ней – впереди) можно определить следующим образом. Чем дальше богатая и прихотливая фантазия уводила рассказчика от реальности, тем сильнее и энергичнее стремился он представить воссоздаваемое событие максимально правдоподобным. Но наступали моменты, когда неумолимая логика должна была поставить его в тупик, однако острый, парадоксальный ум Цицианова тут же находил выход.

В результате текст обретал, наконец, свою пуанту; точнее говоря, бытового эпизод становился текстом, превращался в эстетическое событие:

Случилось, что в одном обществе какой-то помещик, слывший большим хозяином, рассказывал об огромном доходе, получаемом им от пчеловодства, так что доход этот превышал оброк, платимый ему всеми крестьянами, коих было слишком сто в той деревне.

– Очень вам верю, возразил Цицианов: но смею вас уверить, что такого пчеловодства, как у нас в Грузии, нет нигде в мире.

– Почему так, ваше сиятельство?

– А вот почему – отвечал Цицианов: да и быть не может иначе; у нас цветы, заключающие в себе медовые соки, растут как здесь крапива, да к тому же пчелы у нас величиною почти с воробья; замечательно, что когда оне летают по воздуху, то не жужжат, а поют, как птицы.

– Какие же у вас ульи, ваше сиятельство? – спросил удивленный пчеловод.

– Ульи? Да ульи, – отвечал Цицианов, – такие же как везде.

– Как же могут столь огромные пчелы влетать в обыкновенные ульи?

Тут Цицианов догадался, что, басенку свою пересоля, он приготовил себе сам ловушку, из которой выпутаться ему трудно. Однако же он нимало не задумался: "Здесь об нашем крае, – продолжал Цицианов, – не имеют никакого понятия... Вы думаете, что везде так, как в России? Нет, батюшка! У нас в Грузии отговорок нет: *хоть тресни, да полезай!*" (Булгаков 1904: 116).

Приведенная мемуарная запись А.Я.Булгакова показывает, что буйная, неудержимая цициановская фантазия развертывалась именно как реакция на чье-то тривиальное хвастовство. Иными словами, подлинный герой повествования виртуозно доводил ложь до полного абсурда, беспощадно обнажал ее. Так что Цицианов достаточно точно укладывается в мюнхгаузенскую модель поведения. То была схема, которой спонтанно, а в целом ряде случаев и совершенно сознательно, следовал "каратель лжи" старого московского барства. Но говорить о прямом подражании образу легендарного барона вряд ли имеет смысл.

Цицианов был натурой в высшей степени колоритной. Весьма своеобразен и приведенный рассказ. В нем живо и остроумно проявилась личность "русского Мюнхгаузена", по-кавказски пылкая, темпераментная, склонная к преувеличениям и парадоксам. Вместе с тем нельзя не отметить, что сам сюжет об огромных пчелах, влетающих в обыкновенные ульи, отнюдь не является изобретением Цицианова – он известен по восточному

фольклору (См.: Двадцать три Насреддина 1978: 235).

Значит, московский рассказчик, зная соответствующий анекдот о Насреддине, взял его за основу, творчески переработал, наполнил демонстративно подчеркнутым грузинским колоритом и ввел великолепную итоговую формулу ("у нас в Грузии отговорок нет: *хоть тресни, да полезай!*"), придавшую всему тексту особую остроту и пикантность. И в итоге был создан блестящий гротеск, в котором гипертрофированному заострению, эстетически наполненному обыгрыванию подвергся хвастливый рассказ помещика-пчеловода.

Помимо всего сказанного, цициановской интерпретации сюжета об огромных пчелах присуща одна черта, весьма показательная для творческой манеры "русского Мюнхгаузена": в объяснении тем больше претензий на правдоподобность, чем фантастичнее эпизод. То был устойчивый прием, имевший целью не ввести в заблуждение, обмануть, а произвести особый эффект, удивить, ошарашить, смело и точно раскрыть какое-либо явление, создать предельно выразительный художественный текст, в котором оригинально и остро переплавлен жизненный материал.

Напомним характерную деталь одной из цициановских небылиц: "О, я умею очень ловко пробираться между каплями дождя". Эта в высшей степени парадоксальная фраза – не просто ключ к анекдоту. Она – кульминация текста; в ней переплетение фантазии и реальности достигает своего высшего предела:

Во время проливного дождя является он (Д.Е.Цицианов – *Е.К.*) к приятелю. "Ты в карете?" – спрашивают его. "Нет, я пришел пешком". – "Да как же ты не промок?" – "О (отвечает он), я умею очень ловко пробираться между каплями дождя" (Вяземский 1883: 146).

Вся "соль" этой устной миниатюры заключена в том, что невероятный сюжет объяснен предельно просто, обыденно, что делает анекдот откровенно, подчеркнуто фантастичным, невероятность текста оказывается маркированной.

В потемкинском цикле (см. о нем ниже) сюжет о легкой, как пух, медвежьей шубе завершается сообщением о мужике, который знал секрет особой обработки мехов и унес его с собой в могилу. Примеры легко можно было бы продолжить, ведь фактически в основе любого цициановского анекдота лежит невероятное и одновременно реальное происшествие, причем, реальность его в большинстве случаев еще особо оговаривается. Иначе говоря, книга о "русском Мюнхгаузене" во многом основана на достоверной подаче фантастического. Здесь многое способно прояснить обращение к личности автора и одновременно центрального персонажа этого своеобразного повествования.

Вяземский называл его "поэтом лжи". Живая, причудливая фантазия, пылкий темперамент приводили к тому, что Цицианову нужен был просто легкий толчок в виде исторического или даже чисто бытового события, чтобы смело, дерзко, остроумно воспарить над реальностью, одновременно делая вид, что, собственно, ничего особого не происходит, что все это совершенно естественно.

Подчеркивая достоверность происшествия, он приводил самые неожиданные аргументы в доказательство его достоверности, что в результате не столько убеждало в правдивости излагаемого события, сколько вызывало особую эстетическую реакцию. На нее-то Цицианов прежде всего и рассчитывал:

Говорили о Паганини, он (Д.Е.Цицианов – *Е.К.*) сказал: "Все вздор и пустяки

городят, вот я слышал Роде, он играл в концерте, где 50 000 человек, у него струна лопнула, потом вторая, третья и четвертая, и он еще лучше играл, так, так на дереве" (Смирнова-Россет 1989: 478).

Вообще, цициановские "оправдательные" аргументы отличала странная, неожиданная логика, но они были по-своему парадоксально убедительны. Особая интонационная достоверность достигалась за счет соотнесения "остроумных вымыслов" с личностью "русского Мюнхгаузена", необычные, даже нелепые проявления которой были на редкость естественны. Сама колоритная фигура Цицианова придавала его историям определенную достоверность.

Гиперболизируя, укрупняя, заостряя действительность, а нередко и деформируя ее, представляя в пародийном ключе, рассказчик максимально выявлял свое творческое "Я", которое всегда отличала какая-то особая, свободная прихотливость, а также в острой, динамичной форме реализовывал свое знание жизни и людей, тонкое понимание особенностей быта барской Москвы.

Создается впечатление, что прием достоверной подачи фантастического во многом был определен самой натурой Цицианова, неповторимым складом его личности. Так и есть. Но одновременно следует помнить, что достоверная подача фантастического отнюдь не является исключительным свойством поэтики Цицианова. За этим приемом явственно вырисовывается широкий и разнообразный мир народных анекдотов о небылицах, а в книгах Э.Распе и Г.Бюргера о бароне Мюнхгаузене он уже осознан как принцип.

Приведем такой эпизод (берем его почти наудачу, ибо с полным основанием можно брать любой) – одно из бесчисленных приключений легендарного барона:

...В ожидании я направил своего тяжело дышавшего коня к колодцу на базарной площади, чтобы дать ему напиться. Он пил и пил без всякой меры и с такой жадностью, словно никак не мог утолить жажду. Но *дело, оказывается, объясняется очень просто* (курсив наш – *Е.К.*). Когда я обернулся в поисках моих людей, то угадайте, милостивые государи, что я увидел? Всей задней части моего бедного коня как не бывало; крестец и бедра – все исчезло, словно их начисто срезали. Поэтому вода вытекала сзади по мере того, как она поглощалась спереди, без всякой пользы для коня и не утоляя его жажды. Для меня оставалось полнейшей загадкой, как это могло случиться, пока откуда-то с совершенно другой стороны не прискакал мой конюх и, разливаясь потоком сердечных поздравлений и крепких ругательств, не рассказал мне следующее. Когда я в беспорядке с толпой бегущих врагов ворвался в крепость, внезапно опустили предохранительную решетку и этой решеткой начисто отсекали заднюю часть моего коня... Имея перед собой неопровержимые доказательства того, что обе половины моего коня жизнеспособны, я поспешил вызвать нашего коновала. Не долго думая, он скрепил обе половины молодыми ростками лавра, оказавшимися под рукой. Рана благополучно зажила, но случилось нечто такое, что могло произойти только с таким славным конем. А именно: ростки лавра пустили у него в теле корни, поднялись вверх и образовали надо мной шатер из листвы... (Бюргер 1956: 31–32).

Приведенный фрагмент построен на сцеплении двух сюжетов, которые, кстати, широко распространены среди анекдотов-небылиц (Сравнительный указатель сюжетов 1979: 372). Однако в тексте *Удивительных приключений барона Мюнхгаузена* интерпретация этих двух популярных сюжетов не просто решена в ключе достоверной подачи фантастического. Налицо именно четкий и целенаправленный композиционный прием.

Рассказчик, говоря о том, что лошадь его не могла никак утолить жажду, так как у нее была обрублена вся задняя часть, подчеркивает: "дело, оказывается, объяснялось очень просто" и затем дает объяснения совершенно невероятные, которые только усиливают комический эффект (главное тут, впрочем, в другом – в резком столкновении полюсов реальности и фантазии) и усиливают вполне осознанно. Поэтому и можно с полным основанием говорить о том, что в *Удивительных приключениях барона Мюнхгаузена* достоверная подача фантастического – это принципиальной важности композиционный прием, закрепивший, канонизировавший одну из тенденций многовекового фольклорного опыта. Творя свои "остроумные вымыслы", Цицианов находился непосредственно в русле этой тенденции.

Итак, правдоподобное объяснение невероятной ситуации, генетически восходя к достаточно древней модели, представляет собой одну из ведущих черт поэтики цициановского творчества. Однако творчество это объединяет, цементирует еще один важнейший фактор – наличие личности повествователя, "поэта лжи". Анекдоты существуют не сами по себе, как отдельные и разрозненные тексты, а нанизываются как бы на единый стержень, что вполне естественно. Невероятные истории, "остроумные вымыслы" Цицианова, представляя собой пародийно обыгранные действительные случаи из жизни, легко и естественно, в соответствии с какой-то особой внутренней логикой складываются в своего рода анекдотическую автобиографию. Ее реконструкцию начнем со сферы семейных преданий. В *Автобиографии* А.О.Смирновой-Россет сведения о Д.Е.Цицианове и его устных рассказах сообщаются впервые в главе, посвященной Е.Е.Лорер, бабке мемуаристки, урожденной Цициановой, родной сестре Дмитрия Евсеевича. Приведя ряд данных о своем двоюродном деду и его занимательных историях, А.О.Смирнова-Россет затем вновь возвращается к судьбе Е.Е.Лорер. В частности, она воссоздает следующий эпизод:

Однажды вечером приехал в Санжары (местечко вблизи Полтавы, в котором были выделены дворы Евсею Цицишвили, отцу Д.Е.Цицианова и Е.Е.Лорер – *Е.К.*) военный, который спросил, где бы он мог поужинать и переночевать. Ему отвечали, что самый большой дом у князя Цицианова, и что он очень гостеприимен. Он постучался. Ему отворили и спросили, кто он и что ему угодно. Он отвечал, что он полковник фон Лорер... Пока он ужинал и готовили ему постель, он разговорился, сказал им, что немцы любят семейную жизнь, и что, если ему посчастливится, то хочет жениться. Все это было сказано, конечно, ломаным языком. "А если ты хочешь жениться, – сказал ему старик, – у нас есть еще незамужняя дочь. У нее теперь короста (чесотка), и она лежит на лужайке, вымазанная дегтем". Его ввели к ней. Он увидел черные курчавые волосы, черные глаза, нос а la Bourbon, белые как жемчуг зубы и сказал, что она ему нравится. А ее спросили, согласна ли она выйти за него замуж. Она отвечала: "Почтенные мои родители! Я на все согласна, что вам угодно"... Князь Евсевий и княгиня Матрона горько плакали, расставаясь навеки со своей милой Кетеван (Смирнова-Россет 1989: 78–79).

Есть в приведенном рассказе черты несомненно реальные. Так, в нем весьма точно схвачены гостеприимство грузинского князя и удивительная простота отношений в провинциальном дворянском быту. Вместе с тем налицо и общая пародийная атмосфера текста. Создается впечатление, что он представляет собой забавную, остроумную интерпретацию действительно совершившегося события.

От кого А.О.Смирнова-Россет могла услышать подобное истолкование замужества своей бабки? От нее самой? Е.Е.Лорер рассказывала маленькой внучке, как она лежала на лужайке, голая и вымазанная дегтем, когда к ней подвели жениха, и как она тут же

согласилась?! Вряд ли. Скорее всего мемуаристку мог проинформировать кто-либо из ближайших родственников, к тому же балагур, мастер парадоксов, любитель нелепых, неожиданных историй, фантазер, но не отрывающийся совершенно от реальности, а идущий по линии ее сгущения, усиления резкости, пародийного обыгрывания.

И здесь нельзя не вспомнить о Цицианове, который как раз и мог расцвести перед внучкой своей сестры историю замужества последней самыми неожиданными красками, поведать о нем в форме яркой, занимательной новеллы. Кстати, любопытно подчеркивание детали, что Лорер говорил ломаным языком: вероятно, событие было описано мемуаристке в лицах; иначе говоря, есть еще один аргумент в пользу того, что история замужества Е.Е.Лорер была услышана А.О.Смирновой от присяжного рассказчика. Но все-таки чем может питаться предположение, что это именно Цицианов?

Дело в том, что у Россетов существовал культ анекдота, точнее, культ цициановского анекдота. На это указывают и записи, сделанные А.О.Смирновой-Россет, и целый ряд дополнительных свидетельств. Так, в письме Я.К.Грота к П.А.Плетневу от 1 сентября 1845 года читаем: "Вчера после обеда пришел ко мне Россет (Аркадий Осипович – *Е.К.*) прощаться. Я проводил его до дому. Он рассказывал мне...о старике князе Цицианове... Какой был оригинал этот старик. Я много смеялся" (Переписка Грота 1896: 543). В ответном письме к Я.К.Гроту П.А.Плетнев вспоминает: "Цицианов родня был Россетам; о нем я от них слышал тысячу анекдотов" (Переписка Грота 1896: 548–549).

Приведенные свидетельства наглядно показывают, что семейство Россетов было одним из тех постоянных каналов, через которые в общество попадали цициановские истории; причем, происходило это на протяжении целого ряда десятилетий. Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что Арк.О.Россет передавал Я.К.Гроту рассказы своего двоюродного деда в 1845 году, т. е. без малого через десять лет после его смерти.

В силу того, что эти анекдоты отражали целый спектр явлений русской жизни, они, видимо, и получили достаточно широкое хождение не только в семейном кругу, но и по всей Москве, обильно просачиваясь и в Петербург; через жизнь Россетов-Цициановых они давали своеобразное преломление устойчивых форм дворянского быта с его традициями, представлениями, вкусами.

Ограничимся одним примером, взятым из примечаний О.Н.Смирновой к *Запискам* А.О.Смирновой-Россет:

Мой дядя Россет раз спросил его (он был тогда пажем), правда ли, что он (имеется в виду Д.Е.Цицианов – *Е.К.*) проел тридцать тысяч душ? Старик рассмеялся и ответил: "Да, только в котлетах". Мальчик широко открыл глаза и спросил: "Как в котлетах?" – "Глупый! Ведь оне были начинены трюфелями, а барашков я выписывал из Англии, и это, оказалось, стоит очень дорого" (Смирнова-Россет 1895: 95) [1].

Приведенная запись отражает факт общественной значимости. Хлебосолье и расточительность Цицианова не объяснишь только особенностями его натуры. В них очень живо, заостренно, гиперболизированно отразилась существенная черта быта барской Москвы.

Роскошно, обильно угостить своего и приезжего, родовитого и безродного как раз и было одним из характернейших проявлений московского аристократизма. Вспомним пародийно-утрированное, но по сути верное изображение этой черты в *Горе от ума*

А.С.Грибоедова:

...Возьмите вы хлеб-соль:

Кто хочет к нам пожаловать – изволь,

Дверь отперта для званых и незваных...

Хоть честный человек, хоть нет,

Для нас равнехонько: про всех готов обед!

(Грибоедов 1969: 42).

У Цицианова необыкновенно остро, выпукло проявлялся этот своеобразный кодекс чести старого московского барства, который с предубеждением, явно передергивая, но тем не менее очень выразительно и емко зафиксировал Грибоедов. Однако сейчас для нас важны не сами по себе хлебосольство и расточительность Цицианова, сколько то обстоятельство, что эти качества органично вошли в ту анекдотическую автобиографию, которую "строил" известный рассказчик.

Он изысканно, с блеском сумел препарировать свои приятные слабости, сделав их материалом для собственного творчества. Немаловажное значение имело здесь и то, что Цицианов фактически пародировал, доводил до абсурда, до гротеска не только свои личные качества, но целое общественное явление, что только увеличивало успех анекдотов и способствовало их выходу за рамки чисто семейных преданий.

4.3. Книга о "русском Мюнхгаузене". Потемкинский цикл. Курьерские анекдоты

Теперь стоит вычленив в устном наследии Цицианова несколько больших тематических сфер. Самая интересная из них – это, безусловно, анекдоты о Г.А.Потемкине. В основе текстов, рассматривавшихся выше, всегда лежал забавный бытовой эпизод, хотя и тесно связанный с личностью рассказчика, лица абсолютно реального, и вне соотношения с этой личностью во многом теряющий свою остроту и привлекательность. Потемкинский цикл открывает уже непосредственно область собственно историко-биографического анекдота. Впрочем, и тут Цицианов сохранил в неприкосновенности присущую ему оригинальность.

Анекдотов о Г.А.Потемкине существовало тогда великое множество, и были у этого сериала свои типовые черты, свои тенденции в обрисовке всемогущего фаворита Екатерины II, а также совершенно определенный набор сюжетов, наиболее характерные из которых представлены в *Table-talk* А.С.Пушкина. Потемкинский цикл Цицианова резко выбивается из этой традиции. Бытовые и исторические характеристики в рамках данного цикла существуют в единой стихии фантазии рассказчика. Именно он – а совсем не светлейший – оказывается в центре цикла: доминирует, эстетически оказывается наиболее притягательной склонность "русского Мюнхгаузена" к пародийно-гротескной интерпретации действительности.

В *Записках современника* С.П.Жихарева зафиксирован следующий анекдот:

Говорил он (Д.Е.Цицианов – *Е.К.*) о каком-то сукне, которое он поднес князю Потемкину, вытканное по заказу его из шерсти одной рыбы, пойманной им в Каспийском море (Жихарев 1955: 38).

Приведенный текст, безусловно, относится к числу типично цициановских "остроумных вымыслов", и показательно в связи с этим, что он отнюдь не представляет собой чистую фантазию. Цицианов ведь не выдумывал и не обманывал, он как бы творчески преобразовывал действительность, давал ее анекдотическое истолкование.

У рассказа, который упоминает С.П.Жихарев, также была своя реальная основа. Дело в том, что Цициановым принадлежала на территории России своя суконная фабрика. Это обстоятельство было довольно известно (Тарсаидзе 1983: 6). Видимо, Цицианов, пародируя тему семейной, родовой, национальной гордости, которая столь культивировалась среди представителей грузинской колонии в Москве, как раз и рассказывал об одном из диковинных изделий фабрики, принадлежавшей его семейству. Но прежде всего остроюта этого анекдота заключается в том, что Цицианов сумел угодить, изумить, одарить такого капризного баловня судьбы, как Потемкин. По традиции же в связанных с его именем анекдотах обычно у всемогущего фаворита добивались всевозможных милостей. Однако Цицианов строил потемкинскую главу книги о "русском Мюнхгаузене" принципиально иначе: он живо и остроумно показывал, как можно раззадорить и удивить вельможу, пресыщенного утехами и диковинками, как государственный деятель, обладающий властью неограниченной, вынужден высказывать благодарность и признательность. В целом рассказ, конспективно воссозданный в *Записках современника* С.П.Жихарева, легко и точно ложится в цициановскую анекдотическую летопись екатерининской эпохи, с ее азиатской роскошью и размахом, с чудесными превращениями людских судеб и происшествиями, которые впоследствии казались уже невыносимыми. Цицианов не просто творчески интерпретировал ряд занимательных, забавных случаев из более чем тридцатилетнего правления Екатерины II: материал тщательно отбирался, обрабатывался, шлифовался, и, в результате, возникала художественно преобразованная и полемически заостренная, концептуально выверенная картина, которая создавалась, главным образом, уже не в царствование Екатерины, а гораздо позже, представляя собой характерное явление в жизни русского общества первых десятилетий XIX века.

Крупность, самобытность, яркость деятелей екатерининской эпохи противопоставлялись Цициановым временам Александра I и Николая I, в которых он не без основания видел оскудение вольницы дворянской, поглощение масштабных, неординарных личностей напуганными, боящимися самостоятельно мыслить чиновниками, не решающимися иметь собственное лицо. Все дело в том, что анекдоты о Потемкине создавались виртуозным рассказчиком, главным образом, уже не в царствование Екатерины II, а гораздо позже, представляя собой характерное явление в жизни русского общества первых десятилетий XIX века.

Из цициановского цикла о Потемкине один анекдот был особенно широко известен. Не случайно он сохранился в целом ряде записей, далеко не во всем совпадающих друг с другом. Было бы весьма целесообразно привести их целиком, сопоставить и хотя бы вкратце проанализировать.

В *Воспоминаниях о 1812 годе и вечерних беседах у графа Ф.В.Ростопчина* А.Я.Булгакова сохранена наиболее развернутая, подробная редакция анекдота. Мемуарист стремился максимально воссоздать творческую манеру "русского Мюнхгаузена", сохранить характерные его интонации, всю прелесть его забавно-парадоксальной логики. Поэтому, включая в *Воспоминания* анекдот о "цициановской шубе", А.Я.Булгаков совершенно устраняется, выступая только лишь как фиксатор, как записывающее устройство. Автор предоставляет слово самому Цицианову – повествование ведется от его имени, и это отнюдь не формальный прием, в данном случае он совершенно оправдан, объясняясь

особой установкой мемуариста:

Князь Потемкин меня любил именно за то, что я никогда ни о чем его не просил и ничего не искал. Я был с ним на довольно короткой ноге. Случилось один раз, разговоривая (не помню, у кого это было, ну да все равно) о шубах, сказал, что он предпочитает медвежьи, но что они слишком тяжелы, жалуясь, что не может найти себе шубы по вкусу. " – А что бы вам давно мне это сказать, светлейший князь: вот такая же точно страсть была у моего покойного отца, и я сохраняю его шубу, в которой нет, конечно, трех фунтов весу". (Все слушатели рассмеялись). "Да чему вы так обрадовались?" – возразил Цицианов: будет вам еще чему посмеяться, погодите, да слушайте меня до конца. И князь Потемкин тоже рассмеялся, принимая слова мои за басенку. "Ну, а как представляю я вашей светлости, продолжал Цицианов, шубу эту?" – "Приму ее от тебя, как драгоценный подарок", отвечал мне Таврический. Увидя меня несколько времени спустя, он спросил меня тотчас: "Ну что, как поживает трехфунтовая медвежья шуба?" – "Я не забыл данного вам, светлейший князь, обещания и писал в деревню, чтобы прислали ко мне отцовскую шубу". Скоро явилась и шуба. Я послал за первым в городе скорняком, велел ее при себе вычистить и отделать заново, потому что этакую редкость могли бы у меня украсть или подменить. Ну, слушайте, не то еще будет: вот завертываю я шубу в свой носовой шелковый платок и отправляюсь к светлейшему князю. Это было довольно; меня там все знали. – "Позвольте, ваше сиятельство", говорит мне камердинер: "пойду только посмотреть, вышел ли князь в кабинет, или еще в спальней. Он не хорошо изволил ночь проводить". Возвращается камердинер и говорит мне: "Пожалуйте!" Я вышел, гляжу: князь стоит перед окном, смотрит в сад; одна рука была во рту (светлейший изволил грызть себе ногти), а другою рукою чесал он ...нет, не могу сказать что, угадывайте! Он в таких был размышлениях или рассеянности, что не догадался, как я к нему подошел и накинул на плеча шубу. Князь, освободив правую свою руку, начал по стеклу наигрывать пальцами какие-то свои фантазии. Я все молчу и гляжу на этого всемогущего баловня, думая себе: "Чем он так занят, что не чувствует даже, что около него происходит, и чем-то дело это закончится?" Прошло довольно времени – князь ничего мне не говорит и, вероятно, забыл даже, что я тут. Вот я решился начать разговор, подхожу к нему и говорю: "Светлейший князь!" Он, не оборачиваясь ко мне, но узнавши голос мой, сказал: "Ба! Это ты, Цицианов! А что делает шуба?"

– Какая шуба?

– Вот хорошо! Шуба, которую ты мне обещал!

– Да шуба у вашей светлости.

– У меня?... Что ты мне рассказываешь?

– У вас...да она и теперь на ваших плечах!

Можете себе представить удивление князя, вдруг увидевшего, что на нем была подлинно шуба. Он верить не хотел, что я давно накинул ему шубу на плечи.

– То-то не понимал я, отчего мне так жарко было; мне казалось, что я нездоров, что у меня жар, – повторял князь, – да это просто сокровище, а не шуба. Где ты ее выкопал?

– Да я вашей светлости уже докладывал, что шуба эта досталась мне после моего отца.

– Диковинная!.. Однако посмотри: она мне только по колено.

– Чему тут дивиться. Я ростом не велик, а тец мой был хоть и сильный мужчина, но головою ниже меня. Вы забываете, что у вашей светлости рост геркулесов; что для всех людей шуба, то для вас куртка.

Князя очень это позабавило, он смеялся и хотел непременно узнать, какими судьбами досталась шуба эта моему отцу. Я рассказал ему всю историю: как шуба эта была послана из Сибири, как редкость, графу Разумовскому в царствование императрицы Елизаветы Петровны, как дорогою была украдена разбойниками и продана Шаху Персидскому, который подарил ее моему отцу. Князь удивился, что нет теперь таких шуб, на что я ему объяснил, что был в Сибири мужик, который умел так искусно обделявать медвежьих мехов, что они делались нежнее и легче соболиных, но мужик этот умер, не открыв никому секрета (Булгаков 1904: 113–116).

Другой вариант этого анекдота был зафиксирован П.А.Вяземским в *Старой записной книжке*. Причем, если в записи А.Я.Булгакова еще явственно ощущаются элементы фамильного предания, да и сама диковинная шуба фигурирует именно как цициановская, то в записи П.А.Вяземского налицо основные приметы стиля курьерского анекдота, а чудо-шуба из семейной реликвии превращается в царский подарок:

Императрица Екатерина отправляет его (Д.Е.Цицианов – *Е.К.*) курьером в Молдавию к князю Потемкину с собольей шубою. Нечего уже и говорить о быстроте, с которою проехал он это пространство: подобные курьерские рассказы впадают в обыкновенную и пошлую прозу. Он приехал, подал Потемкину письмо императрицы. Прочитав его, князь спрашивает: "А где же шуба?" – "Здесь, ваша светлость!" И тут вынимает он из своей курьерской сумки шубу, которая так легка была, что уложилась в виде носового платка. Он встряхнул ее раза два и подал князю (Вяземский 1883: 146).

Среди *Рассказов С.М.Голицына* есть один, который представляет собой вариант анекдота о "цициановской шубе":

Потемкин, почувствовав себя однажды не очень хорошо, послал своего адъютанта князя Цицианова за шубой. Цицианов рассказывал, что он привез шубу, сжавши ее в кулак. Когда он явился, Потемкин спросил: "Где шуба?" – "Вот она!" – отвечал Цицианов, разжимая кулак (Голицын 1869: 628).

Еще один вариант анекдота о цициановской шубе сообщает А.О.Смирнова-Россет; своей соотнесенностью со стилем курьерского анекдота он близок записям П.А.Вяземского и С.М.Голицына, но композиционно сложнее и насыщеннее их:

Я был, говорил он (Д.Е.Цицианов – *Е.К.*), фаворитом Потемкина. Он мне говорит: "Цицианов, я хочу сделать сюрприз государыне, чтобы она всякое утро пила кофий с калачом, ты один горазд на все руки, поезжай же с горячим калачом". – "Готов, ваше сиятельство". Вот я устроил ящик с конфоркой, калач уложил и помчался, шпага только ударяла по столбам все время: тра, тра, тра, и к завтраку представил собственноручно калач. Изволила благодарить и послала Потемкину шубу. Я поехал

и говорю: "Ваше сиятельство, государыня в знак благодарности прислала вам соболью шубу, что ни на есть лучшую". – "Вели же открыть сундук". – "Не нужно, она у меня за пазухой". Удивился князь, шуба полетела как пух и поймать ее нельзя было, так и не носил ее (Смирнова-Россет 1989: 478).

В мемуарах же А.О.Смирновой-Россет зафиксирован еще один вариант:

...Екатерина очень обрадовалась и говорит мне: "Батюшка князь, сделай одолжение, отвези соболью шубу Потемкину, его именины скоро, а он подарушечки любит". – "Прикажите, ваше величество, ее уложить". – "Да вот она". Вижу пакет как большое письмо. Тотчас в сани и на тройке скачу в Москву, приехал как раз к обедне. Говорят, князь в церкви. Как кончилась обедня, я подхожу к нему и говорю: "Ее величество изволили прислать вам соболью шубу", я в большой карман, открываю пакет, шуба летает по церкви и повисла на паникадиле, насилу ее поймали (Смирнова-Россет 1989: 503).

Сюжет о "цициановской шубе" при всех своих вариативных отличиях развертывался как реализация метафоры **легкая, как пух, шуба**. Однако сейчас речь пойдет не столько об общей направленности сюжета, сколько о том, как он подавался в различных ракурсах восприятия. Считаю целесообразным особо отметить первую (булгаковскую) запись анекдота.

Она, хотя и лишена весьма интересного мотива курьерства, чрезвычайно ценна тем, что представляет собой не краткое, конспективное изложение, как в остальных фиксациях текста, а воссоздание его с максимальной полнотой. Читателю *Воспоминаний о 1812 году и вечерних беседах у графа Ф.В.Ростопчина* предоставляется возможность – и это уже подчеркивалось выше – как бы услышать живую речь Цицианова, непосредственно ознакомиться с его особой творческой манерой, а не с сухим изложением анекдота.

Очень существенно, что тут была сознательная установка мемуариста. А.Я.Булгаков специально оговаривает:

Я буду стараться передать рассказ, как слышал из уст самого князя Цицианова, у которого было свое особенное красноречие... Я буду стараться передать точные слова Цицианова. Теперь говорить будет уже он, а не я (Булгаков 1904: 112–113).

Но читатель булгаковских воспоминаний не просто имеет возможность получить достаточно точное представление о творческой манере талантливого и своеобразного рассказчика.

Дело в том, что запись А.Я.Булгакова, в силу своего развернутого характера, живо, убедительно и, главное, подробно демонстрирует одну из определяющих черт цициановской поэтики – достоверную подачу фантастического. Интересно, что черта эта реализовывалась в приведенном анекдоте не только за счет ввода в малоправдоподобную ситуацию вполне реальных деталей (например, сообщается, что Г.А.Потемкин грыз ногти, и это вполне достоверно, ибо подтверждается целым рядом источников), но и путем активного использования точных, тщательно продуманных психологических характеристик.

Так, А.Я.Булгаков не просто подчеркивает, что шуба, подаренная Г.А.Потемкину, была изготовлена сибирским мужиком, который знал особый секрет обработки медвежьих мехов и унес его с собой в могилу (это как бы "доказывает" диковинность, невероятность

и одновременно реальность "цициановской шубы", объясняет, почему таковых больше нигде нет), но и психологически достоверно описывает состояние самого Потемкина: пребывая в состоянии ипохондрии – а известно, что она не раз на него находила, – светлейший был так расстроен, что даже не заметил, когда на плечи ему накинули редкую по своей легкости шубу. Но все это не только не делает невероятную историю фактом действительности, а, наоборот, обнажает, выделяет, оттеняет ее гротескный, гиперболически заостренный характер, подчеркивает, что она обладает не реально-бытовым, а именно эстетическим статусом. В целом же запись А.Я.Булгакова важна потому, что самым непосредственным образом вводит в живой мир "остроумных вымыслов" Цицианова.

Особо стоит остановиться на первом из тех двух вариантов анекдота о "цициановской шубе", что были зафиксированы А.О.Смирновой-Россет. Ничего принципиально нового не внося в то, что было отмечено А.Я.Булгаковым, П.А.Вяземским, С.М.Голицыным, этот вариант представляет интерес своеобразной интерпретацией мотива курьерства, который, при всей своей локальности очень органично вписывается в проблематику и стилистику рассматриваемого текста.

Невероятно быстрая езда, похожая на чудо, – это один из штрихов в той картине широты, удали и размаха, которую создавал в анекдотах о Потемкине Цицианов; так что он совсем не случайно попадает в качестве вставного эпизода в рассказ о "цициановской шубе". Но мотив курьерства, сохраненный в варианте А.О.Смирновой-Россет, важен еще по одной причине.

Вспомним одно из пушкинских примечаний к *Евгению Онегину* (N 43):

Сравнение, заимствованное у К**, столь известного игривостью изображения. К** рассказывал, что будучи однажды послан курьером от князя Потемкина к императрице, он ехал так скоро, что шпага его, высунувшись концом из тележки, стучала по верстам, как по частоколу (Пушкин 1937: 195).

Примечание это вызвано следующими строчками из строфы 35 главы седьмой *Евгения Онегина*:

Автомедоны наши бойки,
Неутомимы наши тройки,
И версты, теща праздный взор,
В глазах мелькают как забор
(Пушкин 1937: 154).

Кто же тот загадочный "К**", который был известен в пушкинские времена "игривостью изображения"? "К**", который мог быть послан курьером от Потемкина к Екатерине, а затем мог бы создать на основе этого путешествия "остроумный вымысел"? Еще в 1923 году Б.Л.Модзалевский выдвинул предположение, что под "К**" поэт имел в виду Цицианова ("К**" расшифровывалось как князь такой-то). Предположение было высказано вскользь в комментариях к пушкинскому *Дневнику* (Дневник Пушкина 1923: 101). Вновь обратимся к давней гипотезе Модзалевского.

Конечно, "игривость изображения" – одно из определяющих качеств Цицианова как

рассказчика. Но вместе с тем нельзя утверждать, что данная особенность закреплена исключительно за ним. Не удивительно поэтому, что Ю.М.Лотман в комментарии к *Евгению Онегину* высказывает предположение, что под "К**" А.С.Пушкин подразумевал остряка и мистификатора А.Д.Копьева, впрочем, решительно не отмечая и кандидатуру Цицианова:

Пушкин, видимо, имеет в виду рассказы известного автора комедий и фантастических вымыслов А.Д.Копьева, хотя подобные же рассказы приписывались и другому известному "поэту лжи", князю Д.Е.Цицианову (Лотман 1980: 324).

В самом деле, за А.Д.Копьевым традицией был закреплён целый ряд популярных острот, пародий, мистификаций, так что в определенном смысле и его отличала "игривость изображения". Но о "фантастических вымыслах" А.Д.Копьева, на которые ссылается Ю.М.Лотман, никаких сведений не сохранилось. В то же время буквально все, попавшие в поле нашего зрения записи анекдотов Цицианова, подпадают под категорию "фантастических вымыслов". Кроме того, А.Д.Копьев никак не мог входить в ближайшее окружение Г.А.Потемкина, не мог быть его адъютантом, не мог быть послан курьером от него к Екатерине II, ибо он появился при дворе несколько позднее, принадлежа к любимцам графа Зубова, последнего фаворита императрицы. Поэтому предположение Б.Л.Модзалевского более вероятно, но, конечно, оно остается именно предположением. Чтобы утверждать, что Пушкин в 35 строфе седьмой главы "Евгения Онегина" имел в виду Цицианова, нужны бесспорные факты. И такие факты есть; на них просто не обращали внимания.

В 1931 году, когда Б.Л.Модзалевского уже не было в живых, вышла в свет *Автобиография* А.О.Смирновой-Россет. В ней находится запись сюжета о "цициановской шубе". Фактически эта запись включает в себя три нанизанных друг на друга эпизода, причем, один из них (о курьерстве) и цитировавшееся пушкинское примечание к *Евгению Онегину* соотносятся как два варианта одного цициановского анекдота (см.: Курганов 1981: 114–116). Таким образом, предположение Б.Л.Модзалевского перестает быть гипотезой.

Теперь можно быть окончательно уверенным, что рассказ о легкой, как пух, шубе, точнее извлеченный из него мотив курьерства, был творчески переработан А.С.Пушкиным и органично вошел в текст *Евгения Онегина*. Попутно стоит заметить, что А.С.Пушкина вообще, видимо, привлекала курьерская тема в интерпретации Цицианова и, кажется, можно понять причину такого интереса.

"Русский Мюнхгаузен" виртуозно разоблачал "дорожные" анекдоты, гротескно обнажая их фальшь, подчеркивая разного рода логические неувязки, пародийно раскрывая технику такого рода текстов. Ограничимся одним примером, тем более интересным, что он непосредственно помогает увидеть, как курьерский анекдот проецируется в литературу.

Ф.В.Ростопчин упоминал в одном из своих писем:

Московских здесь я вижу Архаровых, соседа моего Цицианова, у которого лошадь скачет 500 верст не кормя (Письма Ростопчина 1863: 892).

Эта ссылка на курьерский анекдот Цицианова прежде всего важна потому, что помогает понять одно очень неясное место из пушкинского *Домика в Коломне*. В седьмой октаве поэмы читаем:

...поплетусь-ка дале

со станции на станцию шажком,
как говорят о том оригинале,
который, не кормя, на рысаке
приехал от Москвы к Неве-реке
(Пушкин 1948: 85).

Свидетельство Ф.В.Ростопчина убеждает, что "оригиналом", о котором писал поэт, был Цицианов. Более того, становится очевидным, что Пушкин имел в виду совершенно определенный цициановский анекдот. Увы, кроме упоминания в письме Ф.В.Ростопчина, о нем ничего не известно. Полный его текст можно реконструировать приблизительно следующим образом: "У меня такая лошадь, что скачет 500 верст не кормя". Собеседник требует разъяснений относительно того, каким образом это может произойти. Цицианов отвечает: "А так – со станции на станцию шажком". Фраза, включенная А.С.Пушкиным в *Домик в Коломне*, была тем пуантирующим псевдообъяснением, которое венчало большинство "остроумных вымыслов" "русского Мюнхгаузена": "Как же могут столь огромные пчелы влетать в обыкновенные ульи? – ...У нас в Грузии отговорок нет: хоть тресни, да полезай!"; "...Да как ты не промок? – О, я умею очень ловко пробираться между каплями дождя" и т.д.

Какое же место занимает цициановский анекдот в поэтической системе *Домика в Коломне*? Л.П.Гроссман указывал на особое значение анекдота в построении "тех произведений Пушкина, которые он охотно называл "шутливыми повестями" или "легкими веселыми рассказами". Этот вид обнимает и поэмы, и прозаические произведения: "Граф Нулин", "Домик в Коломне", "Барышня-крестьянка" одинаково относятся к нему" (Гроссман 1923: 58–59). Добавим, что все эти произведения не просто ориентированы на анекдот как на определенный случай, забавный, психологически интересный, неожиданный, – они насквозь анекдотичны, пародийно-игровая стихия буквально пронизывает их. И цициановский анекдот, нашедший отражение в *Домике в Коломне*, является пусть всего лишь локальным эпизодом, но при этом очень точно вписывающимся в общую тональность поэмы (см.: Курганов 1983: 124-127).

Теперь, от реконструкции нескольких сюжетных узлов потемкинского цикла и во многом связанных с ним курьерских анекдотов, целесообразно обратиться к еще одной весьма существенной сфере устного творчества Цицианова, может быть, даже главной сфере (московский цикл), ведь автобиография "русского Мюнхгаузена", построенная как цепочка довольно свободно связанных друг с другом новелл, фактически

выросла в пародийную летопись барской Москвы. Попутно попытаемся "выловить" отдельные ("блуждающие") сюжеты, не имеющие точной цикловой принадлежности, но, видимо, все-таки соотносящиеся с московской главой той яркой, оригинальной книги, которую творил Цицианов.

4.4. Книга о "русском Мюнхгаузене". Московский цикл

Различнейшие сплетни, небывлицы, самые невероятные домыслы – это было именно то, чем жила шумная, веселящаяся, развлекающаяся Москва конца XVIII – начала XIX веков. И характерно, что именно они определили само построение, составили зерно сюжета такого "московского" произведения, как *Горе от ума* А.С.Грибоедова. Кстати, в основу комедии Ф.В.Ростопчина *Вести, или убитый живой*, действие которой разворачивается в

Москве, опять-таки положена тема слухов.

Нет никаких оснований утверждать, что А.С.Грибоедов, продумывая концепцию *Горя от ума*, учитывал опыт Ф.В.Ростопчина-комедиографа, хотя в принципе и мог это делать. Но совершенно очевидно следующее: изнутри зная и чувствуя быт барской Москвы, и А.С.Грибоедов и Ф.В.Ростопчин понимали, какое огромное значение имеют в системе этого быта всякого рода небылицы, т. е. сама "отставная столица", заключающая в себе особый, неповторимый мир, как бы подталкивала к созданию комедий, в которых доминантой московских нравов оказываются происшествия абсурдные, невообразимые, даже фантастические, но возведенные при этом в ранг вполне достоверной новости. Причем, А.С.Грибоедов даже включил в текст *Горя от ума* гиперболически заостренный образ московских слухов как некоего действующего лица и лица значительного. Приведем фрагмент из монолога Чацкого, особенно ярко, остро звучащий в ранней редакции комедии:

И вот Москва! – я был в краях
Где с гор верхов ком снега ветер скатит,
Вдруг глыба этот снег, в паденьи весь охватит,
С собой влечет, дробит, стирает камни в прах,
Гул, рокот, гром, вся в ужасе окрестность.
И что она в сравненьи с быстротой,
С которой чуть возник, уж приобрел известность
Московской фабрики слух вредный и пустой.
(Грибоедов 1969: 233)

Выделенная А.С.Грибоедовым сторона жизни барской Москвы во многом обусловила своеобразный тон в тематическом регистре творчества Цицианова. Напомним, что "русский Мюнхгаузен" не просто придумывал и распространял веселые и забавные небылицы, – он создавал, творил "новости", в которые невозможно было поверить. Игровые, гротескные, они поражали воображение какой-то особой остротой, пикантностью, умением превратить тривиальную историю в нечто феерическое, непредсказуемо оригинальное, принадлежащее уже не только быту, но и искусству.

В воспоминаниях А.О.Смирновой-Россет есть одна ссылка на цициановский анекдот, о котором другие мемуарные источники вообще не содержат никаких упоминаний. При всей скупости, конспективности изложения, "остроумный вымысел", сохраненный памятью А.О.Смирновой-Россет, представляется достаточно показательным:

Он (Д.Е.Цицианов – *Е.К.*) всех смешил своими рассказами, уверял, что варит прекрасный соус из куриных перьев и что по окончании обеда всех будет звать петухами и курицами (Смирнова-Россет 1989: 125).

Эта и другие подобные истории представляют собой яркие, смелые пародии на привычки и представления барской Москвы, на то, как там привыкли забавляться. Так, например, когда на зиму в нее съезжались из окрестных и дальних имений помещики со своим

запасом деревенских поверий и удивительных происшествий, то Цицианов, смело и виртуозно выполняя функцию "карателя лжи", отвечал на их провинциальные новости своими "правдивыми" рассказами. Вот один из типично цициановских антислухов, слухов, которые не играют под реальность, а, наоборот, подчеркнута ирреальны:

...князь Цицианов, известный поэзией рассказов, говорил, что в деревне его одна крестьянка разрешилась от долгого бремени семилетним мальчиком, и первое слово его, в час рождения, было: дай мне водки! (Вяземский 1883: 388).

Стоит указать еще на один тематический регистр цициановского творчества. Мода на розыски разного рода исторических достопамятностей, склонность многих "отставных фаворитов", живших на покое в Москве, к собиранию домашних музеев, библиотек, коллекций, во многом определили тематику и колорит особого слоя цициановских анекдотов.

Ф.В.Ростопчин в письме к наместнику Кавказа П.Д.Цицианову, с которым его связывали давние дружеские отношения, сообщал в числе последних московских новостей следующее:

Забыл было сказать ложь князя Д.Е.Цицианова. Горич нашел в каменной горе у Моздока бутылку с водою, и стекло так тонко, что гнется, сжимается и опять расправляется, и он заключил, что эта бутылка должна быть из тех, кои употребляли Помпеевы солдаты, хотя Римляне и никогда в сем краю не были. А доказательство Цицианова было то, что подобные сей бутылке сосуды есть в завалинах Геркулана и Помпеи

(Переписка Ростопчина 1872: 24).

Как видим, Цицианов доводил до яркого, смелого гротеска привычку москвичей посудачить да посплетничать, разоблачал он и "хлестаковых от археологии", смело и остроумно показывая, как собирались многие доморощенные коллекции, виртуозно демонстрируя, что желание иметь у себя раритет подревнее приводило к тому, что антикварию-любители не останавливались ни перед чем, даже перед самым явным подлогом.

Напомним, как представлял свою коллекцию президенту Российской Академии А.С.Шишкову и президенту Академии художеств А.Н.Оленину известный антиквар-мистификатор:

...Главное сокровище Селакадзева состояло в толстой, уродливой палке, вроде дубинок, употребляемых кавказскими пастухами для защиты от волков; и эту палку выдавал он за костыль Иоанна Грозного, а когда я сказал ему, что на все его вещи нужны исторические доказательства, он с негодованием возразил мне: "Помилуйте, я честный человек и не стану вас обманывать." В числе этих древностей я заметил две алебастровые фигурки Вольтера и Руссо, представленных сидящими в креслах, и в шутку спросил Селакадзева: "А это что у вас за антики?" – "Это не антики, – отвечал он, – но точные оригинальные изображения двух величайших поэтов наших, Ломоносова и Державина..." (Жихарев 1955:437).

Таким образом, за коротеньким рассказом, зафиксированным Ф.В.Ростопчиным, вырисовывается особая сфера быта барской Москвы. Он является пародийным сигналом, гротескным обозначением этой сферы. Однако рассказ этот интересен не только тем, что в

нем живо, выразительно обнажены наивные претензии некоторых антиквариив-любителей, не только тем, что был связан с жизнью "отставной столицы".

Судя по всему, цициановский "остроумный вымысел", который мы извлекли из письма Ф.В.Ростопчина, был в свое время широко известен. Об этом, в частности, свидетельствует то, что он был переработан и переведен на язык драматургии, получив литературное закрепление в комедии А.А.Шаховского *Не любо – не слушай, а лгать не мешай* (по традиции она обычно связывается с мюнхгаузениадами издателя *Отечественных записок*, собирателя российских древностей П.П.Свиньина, однако на самом деле круг источников комедии значительно шире, что подтверждается, в частности, цитированным выше письмом Ф.В.Ростопчина к П.Д.Цицианову):

Фарфор фарфору рознь, о этот – эластик,

То есть он гнется как хотите.

Салфеткою его сложите

И всуньте в стол – лежит, ударьте об пол – прыг,

И отскакнет как мячик...

(Шаховской 1969: 529)

Сохранились и такие записи устных рассказов Цицианова, которые прямо не относятся к московскому или к какому-либо иному циклу, но игнорировать их не стоит. Они интересны и важны тем, что дают яркие и оригинальные проявления этой колоритнейшей личности, фиксируя прежде всего парадоксы "русского Мюнхгаузена", а он до них был великий мастер:

Дмитрий Евсеевич Цицианов говорил, что французский язык – это вертопрашный язык. "Только, говорил он, наши барыни любят болтать всякий вздор по-французски. Скажи им по-французски: *Pantalons*, так и растают, а скажи им штаны – чуть в обморок не падают." Кроме того, он говорил странности, раз при мне он сказал: "То ли дело при Екатерине: все фрейлины были княжны или графини, а теперь все прачки". – "Дедушка, я не прачка". – "Ты первая прачка и есть, отец твой дослужился, а дед твой, может быть, был портной" (Смирнова-Россет 1990: 122);

Когда воздвигли Александровскую колонну, он (Д.Е.Цицианов – *Е.К.*) сказал одному из моих братьев: "Какую глупую статую поставили – ангела с крыльями; надобно представить Александра в полной форме и держит Наполеонку за волосы, а он только ножками дрыгает (Смирнова-Россет 1989: 504);

Цицианов любил также выхвалять талант дочери своей в живописи, жалуясь всегда на то, что княжна на произведениях отличной своей кисти имела привычку выставлять имя свое, а когда спрашивали его, почему так, то он с видом довольным отвечал: "потому, что картины моей дочери могли бы слыть за Рафаэлем, тем более, что княжна любила преимущественно писать Богородицу и давала ей и маленькому Спасителю мастерские позы" (Булгаков 1904: 117).

Мы попытались выделить основные тематические сферы устного наследия Д.Е.Цицианова. Пласты семейных преданий, пародийная мозаика московского быта, невероятные происшествия екатерининского царствования, иронически осмысленные, гротескно заостренные отдельные подробности русской жизни конца XVIII – начала XIX веков – все это складывалось если и не в полную, то во всяком случае в достаточно объемную картину. Внутреннюю цельность этой картине обеспечивала глубоко оригинальная и вместе с тем весьма показательная для своего времени (и, в частности, для быта барской Москвы) личность хлебосола и балагура, виртуозного рассказчика и остролова, создателя знаменитых "лживых" историй, "русского Мюнхгаузена".

В процессе воссоздания неповторимого мира цициановских "остроумных вымыслов" нами не раз подчеркивалась связь самих структурных принципов этого мира с мюнхгаузенскими традициями. На данном весьма существенном обстоятельстве необходимо остановиться особо.

4.5. Репутация "русского Мюнхгаузена" и ее истоки

По семейной традиции Россетов, находившихся, как уже говорилось, в родстве с Цициановым, "Дмитрий Евсеевич был русский Мюнхгаузен" (Смирнова-Россет 1989: 477). Есть основания предполагать, что версия эта исходила от самого Цицианова, во всяком случае из его ближайшего окружения:

Граф Ростопчин уверял, что известная брошюрка под заглавием *Не любо – не слушай, а лгать не мешай* сочинена князем Цициановым, но что он не хотел выставить своего имени (Булгаков 1904: 113).

Маленькая справка. Издание *Не любо – не слушай, а лгать не мешай* представляет собой анонимный перевод *Удивительных приключений барона Мюнхгаузена* Г.Бюргера. В соответствии с современной библиографической традицией автором перевода считается Н.Осипов. Не станем это оспаривать. Сейчас для нас важно другое: не только по семейным преданиям, но и в глазах общества фигура Цицианова прочно связывалась с личностью легендарного фантазера, и совсем не случайно.

Известный московский рассказчик строил свою жизнь как своего рода анекдотический эпос, он живо и убедительно играл роль "русского Мюнхгаузена", играл с самоотдачей и с несомненной творческой установкой (кстати, история о том, что книжка *Не любо – не слушай, а лгать не мешай* сочинена князем Цициановым, возможно, представляет собой один из тех "остроумных вымыслов", которыми он так любил мистифицировать общество). В результате и был создан миф о "карателе лжи" старого русского барства.

Б.Л.Модзалевский в комментариях к пушкинскому *Дневнику* очень точно подметил: "Это была личность легендарная" (*Дневник Пушкина* 1923: 99). Характерно, что вокруг фигуры Цицианова стал группироваться совершенно определенный круг распространенных сюжетных мотивов – начала происходить фольклоризация образа. Суть этого процесса очень точно определил А.С.Пушкин:

Всякое слово вольное, всякое сочинение противузаконное приписывают мне так, как всякие остроумные вымыслы князю Цицианову (*Пушкин* 1949: 23).

Однако, если миф о Мюнхгаузене возник путем значительной трансформации реальной личности барона за счет тех народных анекдотов-небылиц, которые стали приписывать ему (и сам барон, без всякой оглядки на реальность, стал осмысляться в духе

фольклорных представлений о рассказчике-врале), то миф о "русском Мюнхгаузене" был создан отнюдь не в результате позднейших наслоений, хотя они, конечно, были, а самим Цициановым, в основе устных импровизаций которого лежала совершенно определенная творческая программа. Он выразил богатейший мир своей личности в форме, ориентированной на известный литературный образец. Моделируя собственную биографию, задавая ей определенные эстетические параметры, Цицианов своими "остроумными вымыслами" выстраивал книгу о "русском Мюнхгаузене". Весьма существенно при этом следующее.

То, что он соотносил свои устные рассказы с *Удивительными приключениями барона Мюнхгаузена*, подтверждают не только семейные предания, вышедшие из круга Россетов, но и само творчество Цицианова.

В книге Г.Бюргера есть два сюжета, совпадающие в основных своих чертах с двумя цициановскими анекдотами. Так, в *Удивительных приключениях барона Мюнхгаузена* читаем:

Мне до глубины души стало жаль беднягу. Хоть у меня самого душа в теле замерзала, я все же накинул на него свой дорожный плащ. И тут внезапно из поднебесья донесся голос, восхвалявший этот добрый поступок в следующих выражениях, обращенных ко мне: "Черт меня побери, сын мой, тебе за это воздастся!" (Бюргер 1956: 10).

С приведенным отрывком самым непосредственным образом соотносится следующий фрагмент из *Старой записной книжки* П.А.Вяземского:

В трескучий мороз идет он (Д.Е.Цицианов – *Е.К.*) по улице. Навстречу ему нищий, весь в лохмотьях, просит у него милостыни. Он в карман, а нет денег. Он снимает с себя бекеш на меху и отдает ее нищему, сам же идет далее. На перекрестке чувствует он, что кто-то ударил его по плечу. Он оглядывается. Господь Саваоф пред ним и говорит ему: "Послушай, князь, ты много согрешил, но этот поступок твой один искупит многие грехи твои: поверь мне, я никогда не забуду его!" (Вяземский 1883: 146).

Теперь обратимся ко второму сюжету. В книге Г.Бюргера есть следующий эпизод:

...Однако такую штуку я не решился выкинуть с бешеной собакой, которая вскоре после этого погналась за мной в одном из узеньких переулков Санкт-Петербурга. "Тут уж беги что есть мочи!" – подумал я. Чтобы легче было удирать, я скинул с себя шубу и поспешил укрыться в доме. За шубой я затем послал слугу и приказал повесить ее с другим платьем в гардероб. На следующий день меня до смерти напугали крики моего Иоганна. – О боже! – вопил он. – Господин барон! Ваша шуба взбесилась! (Бюргер 1956: 23).

Чрезвычайно близкий по своей сюжетной структуре рассказ находится среди мемуарных записей А.О.Смирновой-Россет:

Между прочими выдумками он (Д.Е.Цицианов – *Е.К.*) рассказывал, что за ним бежала бешеная собака и слегка укусила его в икру. На другой день камердинер прибегает и говорит: "Ваше сиятельство, извольте выйти в уборную и посмотрите, что там творится". – "Вообразите, мои фраки сбесились и скачут" (Смирнова-Россет 1989: 477–478).

Приведенные факты свидетельствуют, что Цицианов в своем творчестве самым непосредственным образом отталкивался от книг о бароне Мюнхгаузене (прежде всего от бюргеровской), что имя "русского Мюнхгаузена" было закреплено за известным московским рассказчиком отнюдь не случайно. Но, конечно, ориентация на литературную модель далеко не всегда проходила столь прямо. И вообще главное как раз не то, что Цицианов брал те или иные сюжеты из книги о бароне Мюнхгаузене, а то, что, творя свои "остроумные вымыслы", он во многом исходил из мюнхгаузенских традиций.

Между произведениями Э.Распе и Г.Бюргера и цициановскими анекдотами существовала любопытная общность, проявлявшаяся далеко не только в сюжетных совпадениях. Общность эта заключалась в ориентации не на ситуацию, "играющую" под действительность, а на совершенно невероятное происшествие, "приправленное" точными бытовыми и психологическими деталями. И был еще какой-то совершенно особый тон в самом рассказывании таких происшествий.

Соединение фантастического в главном, в характере развертывания сюжета с реальным в мелочах, в подробностях, постоянные заверения, что странные, невероятные события на самом деле произошли с повествователем или что он был их свидетелем – все это придает совершенно особый колорит историям, вошедшим в книги о бароне Мюнхгаузене. В целом художественный текст и у Распе, и у Бюргера организован в соответствии с установкой на **правдивость** всем известного рассказчика-вряля. Прежде всего именно благодаря данной установке приключения Мюнхгаузена и вызывают интерес.

Невероятное эстетически особенно привлекательно тогда, когда оно преподносится как случай из жизни, как воспоминания бывалого человека. При этом смеются совсем не над самим Мюнхгаузеном. Он отнюдь не попадает впросак, нет, он смело и остроумно выкручивается из щекотливых и двусмысленных положений, доводит обыденную, тривиальную ложь до абсурда, потому и назван "карателем лжи". В народных анекдотах о небылицах такие приемы неоднократно встречаются. Но у Бюргера и Распе они выглядят принципиально иначе, ибо являются осознанной идейно-стилевой доминантой произведения, фундаментальным принципом, определяющим главный эстетический эффект книги.

Конечно, вполне вероятно, что Цицианов учитывал фольклорные небылицы, но в целом он, создавая свою анекдотическую автобиографию, исходил из литературной модели, в которой были закреплены, осмыслены, творчески преобразованы традиции народного анекдота о невероятном реальном происшествии. Интересно при этом, что именно ориентация на известную культурную репутацию помогла выявить свое, специфическое, придав особую законченность, выверенную, отшлифованную форму ярким цициановским историям. Более того, благодаря соотнесенности с определенной моделью, сама личность Цицианова из сферы быта выдвинулась в культурный ряд.

Собирая и анализируя "остроумные вымыслы" Цицианова, рассеянные по целому ряду писем, дневников, воспоминаний, хотелось прежде всего воссоздать, реконструировать чрезвычайно интересное, но практически совершенно забытое явление русской жизни конца XVIII – первых десятилетий XIX веков. Задача эта казалась тем более значительной и в историко-литературном отношении оправданной, что анекдоты Цицианова записывал А.С.Пушкин. А затем выяснилась еще одна любопытная подробность: "остроумные вымыслы" легко и органично складываются в цикл. Они строятся как единый художественный текст, как повествование о "русском Мюнхгаузене". На данном обстоятельстве стоит задержать внимание.

Анекдоты Цицианова представляли собой совершенно особый мир, который был эстетически организован, будучи весь пронизан стихией творчества. Более того, они складывались в своего рода книгу, но при этом по характеру и способу бытования оставались сугубо устными. Это и определило специфику сюжетной структуры "русского Мюнхгаузена".

Устные тексты, как показано в исследовании Б.М.Гаспарова *Устная речь как семиотический объект*, развертываются и функционируют, в отличие от письменных, не в соответствии с жесткой линейной зависимостью, когда одно звено обуславливает построение и характер последующего, а более свободно, без однозначно предопределенной последовательности в расположении сюжетных звеньев – идет как бы смыкание смысловых блоков (Гаспаров 1978: 63–109).

Данная закономерность находит полное подтверждение и в творчестве Цицианова. Его устные рассказы ведь не располагались в иерархически строгом пространстве текста, а стягивались в свободном, четко не запрограммированном порядке, циклизуясь вокруг личности легендарного враля – "карателя лжи", образ которого замещал функцию единого общего сюжета письменного текста. Собственно, ядро основного круга "остроумных вымыслов" и есть сам Цицианов, что далеко не случайно. Данная особенность сериала о "русском Мюнхгаузене" связана не только с классическим построением "Удивительных приключений..." Г.Бюргера, но косвенно и с традициями народного анекдота, к которым генетически восходят цициановские истории.

В частности, циклизация фольклорных небылиц в чем-то объясняет структуру книги о "русском Мюнхгаузене", в рамках которой отдельные сюжеты, каждый из которых имеет самостоятельное значение, сопрягаются, сцепляются без переходов и всякого рода ступенек, без соблюдения определенной последовательности эпизодов. В результате возникает произведение, у которого нет видимых "скреп" и "швов". Организующим, цементирующим началом этого анекдотического эпоса, его идейно-эмоциональным центром, несомненно, является колоритная фигура Цицианова.

Интересный, самобытный рассказчик строил свои устные новеллы и в целом формировал свою специфическую репутацию в обществе, явно учитывая древнюю и все еще молодую мюнхгаузенскую модель. Таким образом, "остроумные вымыслы", существуя в пределах старомосковского быта и не выходя из него, одновременно приобретали статус художественного текста, просто обладающего устной сферой бытования и особой жанровой природой.

4.6. Феномен Мюнхгаузена и творчество Д.Е.Цицианова (Об образе рассказчика – "карателя лжи")

Выраженный Цициановым тип создателя забавных фантастических историй имел, как только что было отмечено, свою литературную модель, за которой, в свою очередь, стояли многовековые фольклорные традиции, являвшиеся почвой богатой и питательной, делавшие положение этой литературной модели особенно прочным и эффективным. Поэтому стоит более подробно рассмотреть соотнесенность "русского Мюнхгаузена" с образом легендарного враля.

Прежде всего коснемся самой техники рассказывания. Тут целесообразны были бы следующие сопоставления.

В самом начале этой главы уже пришлось цитировать предисловие к *Удивительным*

приключениям барона Мюнхгаузена Г.Бюргера (фактически оно является установочным, содержа в себе ключ к личности знаменитого фантазера, который не столько стремился обманывать, сколько разоблачал обманы других, живо, достоверно, художественно убедительно демонстрировал саму тягу ко лжи). Сейчас вновь приходится обратиться к тексту предисловия:

Этот человек редкого благородства и самого оригинального склада мыслей. Заметив, по-видимому, как трудно подчас бывает втемяшить здравые понятия в бестолковые головы и как легко, с другой стороны, какому-нибудь дерзкому спорщику своим криком оглушить целое общество и заставить его потерять всякое представление о действительности, барон Мюнхгаузен и не пытается в таких случаях возражать. Он умело переводит разговор на безразличные темы, а затем принимается рассказывать о своих путешествиях, походах и забавных приключениях – и все это особенным, ему одному свойственным тоном. Но этот тон как раз и оказывается наиболее подходящим, чтобы обличить искусство лжи, или, выражаясь пристойнее, – искусство втирания очков, извлечь его из укромного уголка и выставить напоказ перед всеми (Бюргер 1956: 3–4).

Устойчивое стремление довести до абсурда, дать в целом фейерверке гротескных историй определенные особенности психического склада человеческой природы – все это и обусловило особую функцию "карателя лжи", которая во многом как раз и определила характер Цициановского творчества. Данное обстоятельство выше уже подчеркивалось. Заостряем сейчас на нем внимание, чтобы провести одно любопытное сопоставление.

А.Я.Булгаков писал в *Воспоминания о 1812 годе и вечерних беседах у графа Ф.В.Ростопчина*:

У него (Д.Е.Цицианова – *Е.К.*) были всегда и на все случаи готовы анекдоты, и когда кто-нибудь из присутствующих оканчивал странный или любопытный рассказ, то Цицианов спешил сказать: "Да это что ? Нет, я вам расскажу, что со мною случилось..." И тогда начиналась какая-нибудь история или басенка (Булгаков 1904: 113).

Полагаем, что переключка между бюргеровским определением поведения Мюнхгаузена и свидетельством А.Я.Булгакова совершенно несомненна. Однако, при всей очевидности отмеченной общности, преувеличивать ее значение все-таки не стоит.

То, что московский рассказчик создавал свои невероятные истории именно в ответ на передававшиеся в обществе странные и нелепые происшествия, дабы их развенчать, довести до логического предела, дабы наглядно и убедительно, в форме предельно заостренной обнажить искусно прикрытую лживость, – да, это как раз и являлось реализацией мюнхгаузеновской модели поведения, но выводиться из данной модели все творчество Цицианова, богатое, яркое, самобытное, было бы не только слишком прямолинейно, но и не объективно.

Взятая на вооружение Цициановым функция "карателя лжи" наполнялась им гаммой весьма специфических тонов, что было совершенно естественно, и вот почему. Устное творчество популярного рассказчика существовало, конечно, не в пустом пространстве. У него была своя аудитория. И "русский Мюнхгаузен", творя, безусловно, рассчитывал на определенного типа реакции, которые должны вызывать сюжеты его невероятных историй, на особое понимание интересного и занимательного. Более того, "остроумные вымыслы" Цицианова, при всем том, что их течение прежде всего определяла буйная

фантазия автора, по-своему отражали нравы, вкусы, представления, которые были присущи быту барской Москвы.

Шумный, хлебосольный, полный оригинальных выходок записных чудаков и остряков, он заключал в себе своеобразный, неповторимый мир:

Москва вообще исстари славилась чудаками и оригиналами, которые точно целью жизни поставили себе жить не как все, а по-своему <...>; и в Москве это не только никого не раздражало, а напротив, такие чудаки пользовались всеобщими симпатиями, может быть, за то развлечение, за ту возможность поговорить и посудачить, которую они доставляли своим согражданам, тем более, что эти сограждане и сами любили ни в чем меры не знать (Князьков 1908: 34).

Такова была та атмосфера, в которой утвердился творческий стиль Цицианова.

Документальных данных о "русском Мюнхгаузене", как уже отмечалось, практически не сохранилось. Но, тем не менее, восприятие этой любопытнейшей фигуры современниками с большей или меньшей точностью можно все-таки реконструировать.

А.Г.Хомутова, давая в *Записках* описание торжеств по случаю победы над Наполеоном, упомянула и Цицианова:

Двор и весь город были в Казанском соборе. Императрица, великолепно одетая, сияла счастьем. Духовенство, блистая золотом, пело государственный молебен при громе пушечных выстрелов... Возвратясь домой, мы нашли в гостиной Волинского, рассуждавшего, как истый гастроном, о том обеде, который купцы намеревались дать Кутузову, старого князя Цицианова, вспоминавшего праздники кн. Потемкина и лгавшего без меры (Хомутова 1867: 1055).

Конечно, это всего лишь беглое упоминание, но и оно показательно. Прежде всего важно то, что в описание праздничных торжеств вообще было вкраплено имя Цицианова. Дело в том, что в картине, нарисованной А.Г.Хомутовой, место для него нашлось совсем не случайно, и вот почему.

Цицианов целый ряд своих невероятных историй противопоставлял временам Александра I и особенно Николая I, выстраивая своего рода идеальную модель екатерининского царствования: он подчеркивал крупность, яркость последнего, чтобы на этом фоне четче проявилась та безликость, ординарность, которая и в самом деле стала нормой в первые десятилетия XIX века. Несомненно, именно в ответ на рассказы о торжествах в Казанском соборе, Цицианов и стал вспоминать о грандиозных потемкинских пиршествах и празднествах и вспоминать, естественно, в духе своих "остроумных вымыслов". В тот момент это звучало настолько неожиданно, настолько диссонировало со всеобщим восторгом, что мемуаристка не могла не упомянуть полемические эскапады Цицианова, оригинально и ярко преображавшего прошлое в живые, сочные, гиперболически заостренные сценки.

Упомянул Цицианова в своих *Записках* и Н.И.Лорер, но уже в несколько ином контексте:

Приехав в Москву, я остановился у своего дяди по матери, князя Д.Е.Цицианова. Он был известен в то время своею роскошью и в особенности обедами, за которыми угощал тогдашних знаменитостей большого света, и кончил впоследствии тем, что проел свои 6 тысяч душ (Лорер 1904: 52).

Кстати, в другом месте своих *Записок* Н.И.Лорер говорил о "гомерических обедах" у Цицианова. Эти детали зафиксированы мемуаристом совсем не случайно.

Хлебосольством в барской Москве было трудно удивить. Но весь стиль жизни Цицианова был рассчитан именно на изумление зрителей и слушателей. И он, действительно, затмевал буйным полетом своей фантазии присяжных рассказчиков и забавников. Поражал он и своим невероятным гостеприимством, подчеркивая, что он не только московский аристократ, но еще и грузинский князь. Вообще этой подлинно артистической натуре совершенно необходимо было, чтобы окружающие поверили в его баснословную, сказочную роскошь. Для чего? Несомненно, никакой выгоды Цицианов не искал: он творил легенду, буквально лепил собственный образ, каждая черточка которого может быть охарактеризована только если употребить частицу "супер".

С.П.Жихарев в *Записках современника* рассказывает, как попав в Кусково на обед к Н.А.Дурасову, он стал жертвой мистификации, главным "застрельщиком" которой явился Цицианов. Вот каковы были самые первые впечатления мемуариста, когда он еще находился под чарами "русского Мюнхгаузена":

Князь Цицианов рассказывал множество случившихся с ним происшествий, которым нельзя было не удивляться... (далее следует история о рыбьем сукне, которая выше уже приводилась – *Е.К.*). Каких чудес нет на свете! К числу этих чудес можно отнести и то, что рассказчик, кушая с величайшим аппетитом, и все жирное, ничего не пил, кроме полужамороженной воды; говорил, что от роду не отвеживал ни вина, ни пива, ни даже квасу, а водки и подавно. Он также сам великий хлебосол и мастер выдумывать и готовить кушанье (Жихарев 1955: 38).

В приведенном свидетельстве очень хорошо показано, что рассказы Цицианова точно вписывались в стиль его поведения, более того, являлись вершиной этого стиля, его высшей точкой. Кульминация же жихаревского сообщения – это, несомненно, слова о грузинском князе, никогда не пробовавшем вина. Причем, С.П.Жихарев поверил этому, как поверил и рассказу о сукне, вытканном из рыбьей шерсти. Поверить во все это не так уж и легко. И все-таки он не устоял. Как же это могло случиться?

Обратите внимание: автор *Записок современника* достаточно ясно подчеркивает, что Цицианов в своих ярких устных импровизациях, в своих смелых, дерзких фантазиях был удивительно искренен и психологически убедителен. И вот что еще интересно. Он брал задачу достаточно сложную, ибо хотел, чтобы поверили в то, что представляется откровенно немислимым, невероятным, невозможным. И "русский Мюнхгаузен", в самом деле, доказывал, что у вымысла есть своя особая правда, своя логика, свой модус реальности, делая быт живым, полным какой-то заманчивой прелести, создавая вокруг себя совершенно особую атмосферу игры и творчества. Да, Цицианов был убедителен, достоверен, но достигалось это отнюдь не самопроизвольно, ибо было результатом особой творческой установки.

Рассказчику нужна, необходима была доверчивость, восприимчивость тех, кто способен был не на шутку увлечься полетом его неудержимой фантазии, ему нужно было, чтобы хоть кто-то воспринимал его "остроумные вымыслы" всерьез. Вновь обратимся теперь к мемуарному свидетельству С.П.Жихарева:

...А сукно из рыбьей шерсти и приключения на Каспийском море неужто были одни сказки de ma tige-Г'оіе. Опростоволосился же я порядочно! Пусть основанием этих сказок и служит искреннее желание угостить, однако ж зачем вводить в такое

заблуждение!... А я, конопляник, давай рассказывать каждому встречному и поперечному за неслыханное диво о знаменитом хозяйстве люблинского владельца, у которого в доме все свое и купленного ничего нет, давай повторять историю о рыбьем сукне... (Жихарев 1955: 39).

Несомненно, на такого рода доверчивость Цицианов, главным образом, и рассчитывал, проигрывая перед студентом Московского университета Степаном Жихаревым целый ряд будто бы случившихся с ним происшествий, преподнося в своих историях пародию и гротеск под видом самой очевидной реальности. Доверчивость хотя бы нескольких слушателей была здесь не просто нужна, но необходима. В противном случае, анекдот не срабатывал, не выполнял своей главной творческой сверхзадачи. Хотя кто-то должен был "попасться на удочку" к рассказчику-вралю. Если же "остроумный вымысел" вызывал один лишь смех, значит, он не выполнял своей основной функции, но если кто-то все-таки начинал верить в него, то тем самым сюжетное развитие анекдота получало свое завершение, ибо текст обретал искомую острогу и пикантность, получал особую художественную убедительность.

Когда ложь оформляется и строится просто как ловкая имитация правды, когда фантастичность рассказываемого случая всячески камуфлируется, то ничего особенно интересного, психологически увлекательного тут нет. Но Цицианов в одежды правды облек свои "остроумные вымыслы", при этом совсем не пытаясь сгладить их фееричность, преображенность фактов действительности пылким темпераментом рассказчика. Это производило яркое эстетическое впечатление, более того, подобно цепной реакции, способствовало появлению ряда новых *bon mots* и даже целых рассказиков.

Так, С.П.Жихарев говорит о тех игровых продолжениях, которые имел в московском обществе цициановский анекдот о рыбьем сукне:

...вроглаголая Арина Петровна не перестанет теперь преследовать меня рыбьим сукном, а злодей Н.А.Новиков советовал уже мне обратиться, по принадлежности, к Антонскому как профессору энциклопедии и натуральной истории за сведениями о рыбьей шерсти (Жихарев 1955: 39).

Приведенное свидетельство очень характерно. Оно показывает: анекдоты Цицианова находили в барской Москве живейший отклик и понимание. Современники остро ощущали цициановскую стилевую манеру. Более того, они подыгрывали, поддерживали ту "сольную партию", которую вел в обществе знаменитый рассказчик.

Любопытная зарисовка находится в многократно уже цитировавшихся *Воспоминаниях о 1812 годе и вечерних беседах у графа Ф.В.Ростопчина* А.Я.Булгакова:

Он (Д.Е.Цицианов – Е.К.) был человек добрый, большой хлебосол и отлично кормил своих гостей, но был еще более известен, с самых времен Екатерины, по приобретенной им славе приятного и неистощимого лгуна. Слабость эту прощал ему всякий весьма охотно, потому что она не была никогда обращена ко вреду ближнего. Цицианова лжи никого не оскорбляли, а только всех смешили (Булгаков 1904: 113).

Эти слова А.Я.Булгакова достаточно определенно выделяют в жизненном стиле Цицианова творческий фактор. Действительно, славу ему составило все-таки не хлебосольство, какими бы "гомерическими" не были устраиваемые ими обеды, а мастерство рассказчика.

Существенно и указание на то, что анекдоты Цицианова, при всей их несомненной принадлежности к сфере московского быта, были, тем не менее, порождены не какими-то личными соображениями, меркантильными расчетами, а задачами, так сказать, эстетического свойства. Тут стоит вспомнить, что сходным образом высказывался и Вяземский:

Есть лгуны, которых совестно называть лгунами: они своего рода поэты, и часто в них более воображения, нежели в присяжных поэтах. Возьмем, например, князя Ц.<ицианова> (Вяземский 1883: 146).

Круг приведенных и прокомментированных свидетельств, как представляется, достаточно выразительно характеризует личность князя Цицианова, его оригинальный ум, смелую, причудливую фантазию и, наконец, необыкновенно точную вписанность фигуры рассказчика в быт барской Москвы, в систему ее поведенческих норм. Но особенно важно то, что мемуарные зарисовки, сделанные А.Я.Булгаковым и П.А.Вяземским, выделяют одно принципиально важное обстоятельство: Цицианов не лгал и не обманывал, а творил особый мир, управляемый своими собственными законами.

4.7. Итоги. Анекдоты Д.Е.Цицианова и литературный процесс пушкинской эпохи

Устное наследие Цицианова, специально никогда не привлекавшее внимание исследователей, представляет несомненный историко-литературный интерес. Но мы сочли необходимым посвятить творчеству "русского Мюнхгаузена" отдельную главу не только по этой причине. Обращаясь к миру цициановских "остроумных вымыслов" (при всем их своеобразии во многих отношениях весьма характерных для своего времени), мы хотели продемонстрировать, что взаимоотношения анекдота с областью литературы не просты и не однозначны.

В основе книг о бароне Мюнхгаузене Э.Распе и Г.Бюргера лежат международные сюжеты анекдотов-небылиц, введенные в определенную эпоху и циклизированные вокруг реального образа. Книги о Мюнхгаузене стали популярными и даже по тогдашним понятиям массовыми, неоднократно издаваясь в России в виде переводов и переделок. Они (особенно *Удивительные приключения барона Мюнхгаузена* Г.Бюргера) явились своего рода литературной моделью для Цицианова, который в соответствии с ней организовывал мир своей личности, строил свою биографию.

Анекдоты Цицианова, ориентированные на определенный образец, представляли собой не просто пародийную мозаику русской жизни. Народные небылицы, получившие литературное закрепление, введенные в рамки индивидуального творческого стиля, вновь вернулись в сферу устного бытования, но это не было механическим возвращением. Налицо был жанр, прошедший культурную обработку и воспринимаемый как особый вид творческой работы. Однако точка тут еще не ставится.

Анекдоты Цицианова, строясь по совершенно очевидной литературной модели, имеющей фольклорные источники, стали, в свою очередь, проникать в литературу, войдя, например, в роман в стихах *Евгений Онегин* и поэму *Домик в Коломне* А.С.Пушкина, в комедию А.А.Шаховского. Что же получается? Анекдот, испытав воздействие книжной культуры и получив статус художественного текста, начинает сам влиять на литературу, но именно как художественный текст. В самом деле, в пушкинский роман была включена не фольклорная небылица, а именно литературный анекдот, устный, но одновременно принадлежащий к "особому виду словесного искусства". Возникает достаточно любопытная картина. Осмысление ее помогает установить следующее.

Безусловно, верно то положение, что литература проецируется в анекдот. Фольклорная основа при этом не уничтожается, не отбрасывается, а только преобразуется, ведь анекдот становится жанром индивидуального творчества, он обретает авторов и обретает свою особую поэтику. Но одновременно оказывается верным и то положение, что анекдот, обогащенный и углубленный, проецируется в литературу (обычно в таких случаях фиксируется только этот аспект и то на чисто эмпирическом уровне), внося в нее изменения и уточнения, делая ее более разнообразной и живой.

Таким образом, взаимоотношения изучаемого жанра с миром словесного искусства – это сложный, разнонаправленный процесс, который отличают взаимные переходы, переливы, тесные переплетения основных его структурных элементов (устная и письменная культурные сферы). Выше и была предпринята попытка, исходя из конкретного материала, указать на характер и основные тенденции данного процесса.

Примечание

1. Это издание совершенно обоснованно считается фальсифицированным, поскольку в него включен целый ряд эпизодов, от начала до конца сфабрикованных дочерью мемуаристки. Вместе с тем полное отрицание текста "Записок" все же нецелесообразно. Так, О. Н. Смирнова в сопроводительных комментариях довольно точно пересказывает анекдоты Цицианова, что подтверждается и рядом других мемуарных источников.

	© 1995 by Efim Kurganov	
--	-------------------------	--

	Department of Slavonic and Baltic Languages and Literatures, University of Helsinki	
--	---	--